

K 29

050

КХ-3

0090.



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

**СЕМЕН
КОТКО**

ГОСЛИТИЗДАТ
1941



21

Валентин Катаев

СЕМЕН КОТКО



30090.

О Г И З
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1941

Мы печатаем здесь повесть писателя-орденоносца Валентина Катаева «Семен Котко» — сокращенный автором вариант повести: «Я, сын трудового народа».

В БАЛТЕ НА БАЗАРЕ

Через несколько дней после змовин воротился Семен Котко из Балты, куда ездил за подарками для невесты, и привез новость: немцы наступают на Украину.

Тут же на базаре узнал он и многое другое. Было доподлинно известно, что по договору, подписанному бывшей Киевской радой, Украина должна была отпустить Германии до конца апреля тридцать миллионов пудов хлеба, а также разрешить свободный вывоз руды. Немцы предпочли заключить союз с изгнанной радой, это значило, что немцы не только рассчитывали выкачать украинский хлеб, но, главным образом, задушить на Украине советскую власть, признанную всем трудовым народом, и вернуть старый режим.

— От це тобі и рада, — говорили, крутя головой, сельчане, приехавшие на базар по своим делам. — Она рада, только народ не радый.

И спешили назад, до дому, сообщить людям новости.

Очевидцы рассказывали, что севернее Волочиска идет наступление широким фронтом в направлении на восток и отчасти юго-восток: Луцк, Ровно, Сарны, Коростень, Киев.

Одна мещанка, приехавшая на румынский фронт разыскивать пропавшего без вести мужа и вместо этого в суматохе попавшая в Балту на базар, божилась, что собственными глазами видела немецкие эшелоны в Шепетовке и Казатине.

Она даже показывала людям пропуск, напечатанный на машинке, повидимому, по-немецки за печатью с чудацким орлом и подписанный немецким комендантом.

— Впереди всех, — говорила она, проворно затыкая под платок растрепавшиеся волосы негибающимися пальцами с серебряным кольцом, — впереди всех идут гайдамаки в смушковых шапках с красным верхом и с желто-блакитными бантами на грудях, за теми гайдамаками идут какие только завгодно офицера — тут тебе и русские с погонами и кокардами, тут тебе и польские — с чисто белым орлом на фуражке с розовым околышком, и мадьярские, и украинские, и галичанские. Ну злые все беспощадно! За теми офицерами идут военные-пленные галичане и украинцы. А уже за теми военнопленными начинаются самые германцы. И чего только у ихних у эшелонах нема! Один полк — кавалерийский, один полк — королевский, один полк — чисто весь на велосипедах, один полк

такой, что все германцы сидят в броневиках — ни одного человека на платформе не видно... — мешчанка вдруг сморщила нос — по носу побежали слезы — заголосила: — Пропала наша Россия! Ратуйте, люди! Ратуйте! — и повалилась грудью на чей-то воз, заставленный мешками с кукурузой.

«Эге», — подумал Семен и, не теряя времени, поворотил лошадей назад.

В полдень, когда люди воротились с поля, голова сельсовета Ременюк созвал сход. Коротко, но не торопясь, он рассказал, что произошло, и, рассказавши, вдруг закричал во весь голос:

— Товарищи селяне! Слушайте все и помните. Сюда до нас идет немец, а вин шутковать не любит. Он хочет взять в кабалу рабочих, забрать землю у крестьян, отнять волю у народа. Он хочет выкачать хлеба тридцать миллионов пудов и всевозможное продовольствие в Германию, хочет задушить Украину и Россию. Таковые цели германских и австрийских помещиков и капиталистов. Теперь не время разговаривать много. Надо робить. Товарищи селяне, мы должны теперь показать на деле, что мы — не продажные шкуры, а будем до конца бороться с нашествием иноплеменников — как и наши предки боролись, например сказать, со шведами, которые тоже один раз, слава богу, заскочили до нас на Украину и не знали, как потом оттуда вытянуть ноги; то же самое французский контрреволюционер Наполеон Бона-

парт, нарвавшийся мордой об стол. Что это значит? Это значит — не давать им продовольствия, заморить их к чорту голодом, жечь скирды хлеба, но не давать его германцам! Все как один человек встаньте на защиту революции и свободы!

РОЗГЛЯДЫ

А на другой день перед вечером в хату к Коткам пришли на розгляды всем семейством Ткачки.

Софья, которая, по обычаю, впервые в этот день хозяйничала в доме своего будущего мужа и принимала гостей, не могла отвести глаз от всего этого богатства. Со скрытой гордостью она кланялась пирующим и ставила на стол миски, говоря изредка:

— Кушайте, мама, ложкой, не обращайтесь внимания.

Или:

— Наливай себе, Фросичка, в люминевый стаканчик.

Семен же, натужив скулы и тесно, изо всех сил, сдвинув клочковатые брови, что, по его мнению, придавало человеку вид справного, самостоятельного хозяина, с небрежной строгостью бывалого мужа замечал:

— Что ж ты стоишь, София, я не понимаю, и руки сложила? Может быть, дорогие гости ще хочут исты. Там мама поставила у погреб

холодец с телячьих ножек. Знаешь, где наш погреб? Принеси и поставь на стол, будь ласковая.

А сам исподволь посматривал на старого Ткаченку, будущего своего тестя, — какое на него производит впечатление их хозяйство?

Но бывший фельдфебель и бровью не вел, как будто ни на столе, ни в хате ничего не было достойного внимания. Только один раз, как только вошел в хату, покосился на вещи и сказал:

— Ну и купил себе наш Котко предметов полный цейхауз. На все гроши. Ничего не забыл. Дорого стоило?

Лошадью, коровой и овцами будущий тесть и вовсе не поинтересовался. На просьбу матери Семена посмотреть, какая у них скотина, он ответил:

— А чего мне смотреть. Я ее добре знаю. С того времени, как она еще была помещиков Клембовских.

И пасмурно усмехнулся.

Другой на месте Семена, может, и почувствовал бы в словах Ткаченки лютую, неистребимую ненависть, скрытую за этой короткой усмешкой. Но не до того было Семену, занятому своим счастьем.

После розглядов полагалось назначить день свадьбы. Тут уж дело целиком зависело от тестя. Все, а главным образом Семен и Софья, хотели сыграть свадьбу как можно скорее. Но

шел великий пост. Надо было дожидаться красной горки. С этим и приступили к Ткаченке. Однако он решительно заявил, что, раньше чем уберут с поля хлеб, — о свадьбе исчего и говорить. А там, как бог даст.

Всем стало ясно, что Ткаченко нарочно тянет. Но ничего нельзя было поделывать. Это было его право.

Семен, впрочем, попытался нажать на тестя. Ткаченко посмотрел на Семена со странной лаской и сказал:

— Не лезь, Семен, поперед батьки в пекло. Сперва я тебе уважил. Теперь ты мне уважь.

И Семен понял, что уломать упрямого фельдфебеля — мертвое дело.

На этом покончили.

Семейство Котко проводило Ткаченко до палисада. Семен отчинил ворота, и Ткаченки, минув калитку, вышли гуськом на улицу в ворота.

Не отошли еще Ткаченки от хаты Котко и на десять шагов, как по улице пробежали, задрвав головы, два хлопчика и одна девочка, крича в восторге:

— Ой, бацьте, аэроплан летит!

Высоко в чистом и нежном небе над селом летел аэроплан.

Село было глухое, дальше, и появление аэроплана заинтересовало всех. Люди выбежали из хат и подняли головы к небу.

Аэроплан летел в глубь страны. Невысокое солнце отчетливо освещало его светлые ребри-

стые крылья, немножко загнутые на концах назад. И на этих крыльях люди увидели два черных креста невиданной формы.

— «Герман»! — сразу сказал Семен, опытным взглядом узнав врага, и побежал в хату за биноклем.

Аэроплан скрылся из глаз, но скоро появился с другой стороны, опять пролетел над селом назад, блеснул и пропал окончательно.

Люди молча переглянулись.

Это был немецкий военный самолет.

В ту же ночь Ткаченко заложил коней и выехал со двора. Вернулся он лишь на другой день к вечеру.

КАЗНЬ

Прошел великий пост. Прошла поздняя пасха. Южная весна кончалась роскошно и уже сторонилась, уступая лету пыльную дорогу, заросшую по краям будяком и бледнорозовыми граммофончиками вьюнка.

И вот однажды бабы, выдиравшие из зеленого жита перекасти-поле и молочай, увидели на шляху трех человек в серых мундирах, с винтовками на ремнях. Они шли в село.

Поровнявшись с бабами, окаменевшими от страха и любопытства, один из них, по солидности видать — старшой, приложил руку к блину бескозырки, пошевелил задранными усами та-

раканьего цвета, надул тугие щеки и низким басом буркнул нараспев, как из желудка:

— Мо-оэн!

— Бок помочь! — крикнул другой, приподымая над головой свой блин с круглой кокардочкой, малюсенькой, как точка.

Бабы упали в жито и, накрыв голову спидницами, кинулись утекать.

Прежде чем чужие солдаты добрались до кузни, все село уже знало, что пришли немцы.

Из-за плетней и палисадов, с призби порогов смотрели сельчане вдоль улицы скорее с любопытством, чем со страхом, на троих солдат с касками, привязанными сзади к толстым поясам.

Немцы шли посередине широкой деревенской улицы, поросшей кучерявой летней травкой. На них были хоть и узкие, но вместе с тем мешковатые мундиры с расходящимся разрезом сзади и толстые сапоги с двойным швом.

Судя по этим пыльным сапогам, порыжевшим от украинского солнца, и по ядовитым пятнам подмышками, было ясно, что немцы уже прошли верст не менее пятнадцати.

Время от времени они останавливались возле какого-нибудь двора, и тогда старшой прикладывал толстую руку к бескозырке, надувал щеки и бурчал нараспев:

— Мо-оэн!

После этого вперед выступал другой, повидимому считавшийся у немцев знатоком русского

языка, и, приподняв над головой блин, бодро кричал:

— Бок помочь, казаин! Добри ден! Как есть здесь итти находить деревенски рада, пожалуйста?

Но хозяин или хозяйка, — а то и хозяин и хозяйка вместе да еще в придачу с парой голопузых хлопчиков, уцепившихся за мамкину юбку, — смотрели на гостей с молчаливым любопытством. Постояв немного у палисадника, немцы шли дальше.

Так они ходили по селу часа полтора, пока не попался старик Ивасенко, на двадцать верст кругом известный своим образованием и способностью говорить по любому поводу до тех пор, пока у собеседника не заболит голова.

— Так что же вы хотите? — начал старик Ивасенко и, предвидя интересный и длинный разговор, попрочнее установил локти на плетне. — Так что же вы хотите, господа? Вы хотите знать место и пребывание, где находится сельское присутствие, или теперь одно и то же — сельская рада.

— Так есть, — радостно кивнув головой, сказал знаток русского языка.

— Ще подождите радоваться, — строго заметил старик Ивасенко, который совершенно не выносил, чтобы его перебивали. — Ваше слово ще впереди. Так что же вы-таки хотите? — назидательно продолжал он, наслаждаясь плав-

ностью и красотой своего слога. — Вы хотите, или — то же самое — вам треба, явиться, согласно воинского приказа, до нашей сельской рады. Так я вам на это могу ответить только одно. Того сельского присутствия, или — то же самое — той сельской называемой рады у нас нема в помине с сего января месяца. Теперь вы можете спросить: где же оно тое присутствие, или — то же самое — называемая рада? На это я вам отвечу так. Ее нема. Ее уже нема. Ее уже нема давно, потому что она благополучно кончилась, или — то же самое — разогната сего месяца января. А ее место доси заступает присутствие, или — то же самое — но только теперь не называемое сельская рада, а называемое теперь сельский Совет рабочих и крестьянских и солдатских депутатов. А рады уже нема в помине. В помине нема уже рады. Теперь. Вы хотите знать место и пребывание, где находится сельское присутствие, или — то же самое — теперь сельский Совет. То на это я вам могу ответить одно, но только не сразу, а трошки подумав...

Немцы слушали-слушали, а потом, не дослушав, поправили винтовки и пошли себе дальше, шаркая тяжелыми сапогами по выюнкам.

Старик Ивасенко долго смотрел им вслед с ядовитой обидою в глазах и презрительно качал головой.

— И нехай. Когда они все такие умные — нехай шукают сами. Нехай. Побачим.

Наконец немцы кое-как добрались до сельсовета.

На камышевой крыше, рядом с аистом, стоявшим на одной ноге возле своего гнезда, они увидели похилившийся красный флажок, порядочно выгоревший на солнце.

Повидимому, это их очень удивило, так как старшой долго смотрел на флажок, потом надул щеки, высоко поднял брови и сказал желудочным басом:

— О!

Затем они вошли в хату.

В хате, как всегда, околачивалось много народу. Ременюк в своем неизменном брезентовом пальто с капюшоном, которое он не скидал ни зимой, ни летом, как ни в чем не бывало сидел за столиком и старательно вырисовывал водянистыми чернилами ведомость на распределение комбедовского сельскохозяйственного инвентаря между незаможными дворами.

— Бок помочь, — хотя уже несколько утомленно, но все еще довольно бодро воскликнул знаток русского языка, снимая свой блин. — Добри ден.

С этими словами он строго обернулся лицом в угол и размашисто перекрестился слева направо на новенький московский цветной плакат, изображавший попа с лукошком яиц, со стишками:

Все люди братья —
Люблю с них брать я.

После этого старшой произнес свое утробное «мо-оэн» и положил на стол бумагу, вынутую из внутреннего кармана.

— Битте.

— Пожалуйста, — перевел лингвист.

Ременюк развернул добре-таки пропотевшую бумагу и, не торопясь, вслух прочел напечатанное на машинке по-русски требование начальника императорского и королевского соединенного отряда в трехдневный срок доставить на склад полевого интендантства 1200 пудов жита или пшеницы, 200 пудов свиного сала, 3750 пудов сеиа и 810 пудов овса. В случае невыполнения этого приказа виновные будут арестованы.

При общем молчании Ременюк сложил бумагу вчетверо, провел по сгибу ногтем, твердым, как ракушка, сунул ее себе под локоть и снова, наморщив лоб, принялся вырисовывать ведомость.

— Альзо? — после длительного молчания сказал старшой.

— Герр унтер-официр, — перевел знаток языка, — что есть по-российски — господин унтер-официр, имеет знать от вас, господин, ответ для герр обер-лейтенант.

— Скажи ему, что безусловно, — ответил голова равнодушно, продолжая лепить свои закорючки.

Старшой одобрительно кивнул головой, но затем строго надулся, поднял к потолку толстый

указательный палец и отрывисто произнес желудочное слово:

— Абер!..

— Можешь не сомневаться, — сказал голова.

Немцы еще немного потоптались, суясь по углам. Как видно, искали напиток. Но воды не нашли.

Затем переводчик опять перекрестился на папа с лукошком, сказал общительно:

— Добри ден. Спокойной ночи. — И, провожаемые молчаливыми взглядами, немцы вышли из Совета.

И о них забыли.

Но ровно через четыре дня они появились снова и прямо направились в Совет.

На этот раз Совет был заперт на замок, а на двери имелась прилепленная житным мякишем записка: «Кому меня треба, то я нахожусь старостой на змовинах матроса Царева у хате Ременюков за ставком. Председатель сельского совета Ременюк».

Знаток языка отнюдь не умел читать по-росийски, и немцы стояли перед запертой хатой в некотором затруднении.

Но тут, недалеко за ставком, им явственно послышались звуки скрипки, гармонии и бубна. Немцы посоветались и побрели по направлению музыки. Обогнув ставок, они сразу наткнулись на палисад, в котором происходили змовины матроса Царева с Любкой Ременюк.

Матрос пировал широко. Хата не вместила гостей. Столы поставили на дворе. Ременьюк, хотя и был занят выше горла, все же не мог отказать матросу. Голова сидел на видном месте с полотенцем на рукаве и с посохом и неторопливо вел змовины.

Старшой немец подошел ближе к столу, в упор выкатил на председателя глаза, светлые, как пули, страшно надулся, двинул усами и гаркнул по-немецки так, что со стола свалилась ложка.

— Герр унтер-официр спрашивает, — объяснил переводчик, — где есть должны продукты?

— Какие продукты? — сказал голова.

Унтер-офицер достал из бокового кармана записную книжку, раскрыл ее и грозно постучал по страничке химическим карандашом с резинкой на конце.

— Айн таузент цвай гундерт, — сказал переводчик, — то по-русски будет одна и две сот тысяча пуд пченица и две сот пуд свинске сало и три и семь сот пятьдесят тысяча пуд сено и восемь сот диесать пуд овес. Где есть эти?

— Та вы что, смеетесь над нами, чи шо? — воскликнул матрос после некоторого общего молчания. Затем он налил из штофа полный стаканчик и подвинул унтер-офицеру.

— Лучше на — выпей, чтоб дома не журились. Такого у вас в Германии нет и не будет.

— Найн! — сказал унтер-офицер и ребром ладони решительно, но вместе с тем осторожно, чтобы не разлить, отставил стаканчик, после чего произнес довольно длинную фразу и снял с плеча винтовку.

Переводчик немного помялся, оглядываясь на многочисленных подруг, гостей, бояр, любопытных и музыкантов. Он сделал осторожно улыбку и отступил на шаг назад.

— Герр унтер-официр обладает сделать, господин председатель, что вы есть сейчас арестованный и должный иметь направление в комендатуру.

— Я! — сказал унтер-офицер. — Ште ауф! — и взял винтовку на руку.

— Та вы что, на самом деле, — смеетесь? — простонал матрос, чуть не плача от раздражения, что ему мешают змовляться, вырвал из рук унтер-офицера винтовку, молниеносно ее разрядил и с такой силой зашвырнул за погреб, что по дороге туда она вдребезги разнесла собачью будку и положила на месте серого гусака, подвернувшегося на тот несчастный случай.

Гости повскакали с мест, и через минуту остальные две винтовки тоже пронеслись через двор, подскакивая как палки, пущенные в городки.

Немцев заперли в погреб и дали им туда большую миску холодца из телячьих ножек с чесноком, целый хлеб и маняку вина.

Змовины шли своим чередом.



06006

Сначала немцы страшно стучались кулаком в дверь и что-то кричали. Но мало-помалу успокоились.

Змовины кончились на рассвете, и тогда немцев выпустили из погреба. Они потребовали обратно свои винтовки. Но винтовки пропали.

До утра немцы ходили по дворам, спрашивая, не видел ли кто-нибудь их винтовки. Сельчане молчали. Тогда унтер-офицер приложил руку к бескозырке, пробурчал «мо-оэн», сделал своей команде знак поворачивать и зашагал из села с трясущимися от негодования щеками. А на другой день, не взошло еще солнце, как за селом на шляху встало облако пыли.

Село было окружено немцами.

Пока серые солдаты снимали чехлы с четырех пулеметов, поставленных кругом на возвышенностях, взвод драгун ворвался в село. Возле церкви он разделился на три части. Один разъезд, не меняя аллюра, поскакал прямо к сельсовету. Другой — к хате Ткаченко. Третий остался на месте и спешился.

На этот раз немцам было прекрасно известно расположение села.

Старик Ивасенко, страдавший бессонницей и поднимавшийся раньше всех, видел, как Ткаченко разговаривал со старшим немецкого разъезда, остановившегося около его хаты.

Сельчане еще не успели проснуться и выскочить на улицу, как драгуны, ездившие к сельскому совету, уже на-рысях возвращались на

площадь. За разъездом, в брезентовом пальто, разодранном сверху донизу, спотыкаясь и держаась, бежал голова Ременюк, скрученный по рукам веревкой, концы которой держали драгуны.

Сейчас же следом за первым разъездом показался второй, волочивший матроса. Вид Царева был ужасен. Из разбитого прикладом рта на полосатый тельник широко падала кровь. Наполовину вырванный чуб прилип ко лбу, вываленному в земле. Скрученная веревкой рука судорожно сжимала лохмотья гармоник, которой матрос отбивался, и на длинной георгиевской ленте, попавшей под веревку, болталась и била по большим ногам матросская шапка.

Перед церковью стояла старая сухая груша, в прошлом году разбитая молнией. Под ней, привстав на стременах, медленно поворачивался немецкий вахмистр.

Драгуны окоужили пленных и накинули на них петли. Вахмистр махнул палашом. Казнь совершилась в ту же минуту. И тотчас раздался женский крик такой силы, что на колокольне явственно дрогнула и зазвучала медь большого колокола.

Любка Ременюк вытянула вперед руки, оставилась, как вкопанная, с остекляневшими глазами на равнодушном лице рухнула навзничь, пяти шагов не добежав до груши.

В село при звуке рожков, с кухнями и обозами, входила немецкая пехота.

ЧЕТЫРЕ ЧАРКИ

Обер-лейтенант фон-Вирхов, немецкий комендант уезда, прибыл в мятежное село после полудня.

В дороге было жарко.

Обер-лейтенант снял замшевые перчатки — почти белые, но со слабым лимонным оттенком, — вывернул их наизнанку и повесил на эфес сабли, поставленной между колен. Но при въезде в село обер-лейтенант снова натянул перчатки.

Часовой в глубокой каске, ходивший под деревом, на котором, уронив головы, висели Ремень и матрос, остановился и вытянул руки по швам.

Обер-лейтенант, не переставая смотреть вперед, приложил два пальца к фуражке.

Экипаж прокатил через село и въехал в экономию Клембовских, где уже был расквартирован штаб.

Во дворе дымилась кухня. Команда связи расставляла на желтых лакированных палках телефонный провод. Драгунские лошади у коновязи свистели хвостами, отмахиваясь от слепней. На крыльце стоял пулемет.

Часовые вытянулись. Обер-лейтенант поднялся по ступеням и сбросил на руки вестового серый плащ.

Иссиня-черная, пороховая туча заходила с

краю, поднимаясь над прошлогодними скирдами и неподвижными акациями села.

В этот день большая честь выпала дому Ткаченко. Проголодавшееся начальство не погнушалось отобедать у нового старосты.

Никогда еще хата фельдфебеля не видала у себя таких именитых гостей. Господин обер-лейтенант фон-Вирхов, его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский, чиновник министерства земледелия Соловьев — попробовали в этот день молочного супа, вареников со сметаной и жареной свинины подпрапорщика Ткаченки. Красавица Софья, бледная, как смерть, и оттого еще более прекрасная, подавала гостям блюда, не смея поднять слипшихся ресниц.

Отец приказал ей для такого случая надеть лучшую юбку и лучшую кофту и лучшие свои мониста повесить на шею. Он осмотрел ее с ног до головы и, осмотревши, сказал:

— Одно: не выкинешь из головы — убью; ступишь за порог — убью; скажешь лишнее слово — убью.

Туча закрыла солнце. Ветер побежал и дунул жарким запахом конопли.

Лучшего девяностосемиградусного спирту, в меру разбавленного кипяченой водой, поставил на стол Ткаченко. Три чарки поднимали гости. Первую чарку поднимал его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский.

— Пью эту чарку, — сказал он, — за спасителя моего Никанора Васильевича Ткаченко,

верного моего слугу и друга; а также пью я за то, чтобы вперед господ помещики знали, как надо владеть и править своей землей, не чурались бы деревенской жизни, водили хлеб-соль с богатыми и преданными людьми и жен себе брали из наилучших сельчанок, не стесняясь их крестьянством; потому что за землю надо держаться не одной рукой, а двумя; а то не удержишь.

При этих словах его высокоблагородие штаб-ротмистр Клембовский как бы вскользь окинул взглядом застывшую у дверей Софью и одним духом выпил свою чарку.

Вторую чарку поднимал чиновник министерства земледелия господин Соловьев.

— Эту чарку, господа, я предлагаю выпить за любовь.

И гости выпили по второй чарке.

Третью чарку пил обер-лейтенант фон-Вирхов.

— За Индию! — сказал он по-французски и, заметив, что от него ждут продолжения, продолжил: — Да, господа. Здесь, в этой далекой украинской деревне, за этим грубым крестьянским столом я пью за Индию.

Его глаза налились прозрачной голубой пустотой. Они были устремлены вдаль.

— Мы даем вам успокоение. Вы даете нам хлеб и открываете безопасный путь на Индию. Англия задушила нас на Западе. Но путь на Восток идет не только через Стамбул — Баг-

дад. Он также идет через Киев, Екатеринослав и Севастополь. Оттуда германские корабли идут на Батум, Трапезунд. Я вижу Месопотамию. Аравийский ветер дует в лицо германских солдат. И — Индия! Индия! Мы вырвем у Англии сердце. За Индию!

Четвертую чарку поднял хозяин.

— Покорнейше вами благодарный, что не отказались от моего посильного угощения. Пью эту чарку за то, чтобы оправдать ваше доверие и справиться с народом.

В хате стало темно. Мимо окон пронеслась вырванная из акации ветка, до последнего листика освещенная на лету молнией. Гром взорвался, как бомба, попавшая в зарядный ящик, и посыпался на железную крышу.

Гости выпили четвертую чарку.

Ливень плюшился о стекла.

Дымные водопады ливня один за другим пробежали по селу. Хаты стали тотчас с одного бока черно-лиловые. Улица вздулась, как река. По серой воде среди пузырей и сметья буря гнала в ставок убитую грозой ворону.

Небо, со всех сторон подоженное молниями, сжеминутно рушилось на потрясенную землю.

Тем часом по селу, закинув вверх слепое, но оживленное безумьем лицо, шла против ветра мокрая до ниточки Любка Ременюк. Она шла не спеша, в длинной праздничной юбке, в сорочке с расшитыми рукавами, вся в монистах и

лентах. Буря вырывала их из слипшихся волос, черных, как деготь.

На каждом шагу она останавливалась и простирала к хатам руки, о которые вдребезги разбивался ливень.

Она пела страстным голосом нечеловеческой высоты и однообразия:

Ой, рано, раненько!
За городом дуб та береза,
А в городі червоная рожа.
Там Любочка та рожу щипае.
Пришла до неї матінка:
— Покинь, доню, та рожи щипати,
Хочу тебе за Василька віддати.
— Я Василька сама полюбила,
Куда пішла — перстень покотила,
А де стала — другий положила...

И она продолжала брести, шатаясь и расталкивая коленями сильную воду.

Гроза гремела за полночь, то уходя из села, то вновь в него возвращаясь.

ПОВСТАНЦЫ

Поздней ночью в хату Котков постучали. Семен бросился к окну. При судороге отдаленной молнии он узнал платок Софьи. Он торопливо отчинил дверь. Софья вбежала и обхватила его трясущимися руками. С ее волос на его рубаху текла вода.

— Семен, бежи!

— Что? Батька?

— Батька.

— Лютует?

— Хуже собаки. Ой, меня больше ноги не держат!

— Сядь.

— Бежи за ради бога!

— Пей воду.

— Бежи, я тебе говорю...

Семен похолодевшей рукой нашарил на загнетке коробку серников. Она зашуршала.

— Стой. Не зажигай света. Может, с улицы смотрят.

Фрося и мать неслышно метались по хате, закладывая окна.

— Теперь свети, — прошептала Фрося, дрожа всем телом.

Маленькое беспокойное пламя каганца осветило хату с окнами, заложеными красными подушками.

Софья сидела на скамейке под печкой, быстро крутя на груди стиснутые руки, и облизывала губы. Ее глаза блестели сухо и дико на бледном лице, заляпанном грязью.

— Бежи, Семен, — говорила она скоро и монотонно, как в беспамятстве. — Бежи сегодня, бо завтра уже будет поздно! Бежи, пока ночь. За ради святого господа Иисуса Христа запрягай лошадей. Той старый чорт, той проклятый сатана — батька — доказал на тебя немецкому

коменданту. Он бумагу ему на тебя подавал, и немецкий комендант сказал: гут.

— Так, — сказал Семен, глядя в землю, и губы его горько тронулись — Так. Выходит дело, что должен я темною ночью запрягать в подводу коней и выезжать потихоньку, как тот вор, со своего же собственного двора. Было у меня родное семейство: мама-вдова, сестричка-сиротка и дивчина, с которою мы по нерушимой любви заручались. Была у меня какая ни есть хата, и хозяйство, и земля, моими руками поднятая и потом моим политая. А теперь — выходит дело — налетели на нас откуда ни возьмись теи злодии, стали поперек крестьянской жизни и выжинают меня от моего счастья к чортовой матери, куда глаза смотрят, в ту темную ночь кочевать по степу, все равно как бродягу-цыгана или того серба с обезьяной. И должен я, не дожидаясь солнца, тикать из села, все на свете покинув — и мать родную, и сестричку-сиротку, и землю посеянную, и дивчину зарученную, и сватов своих, без погребенья повешенных на добычу воронам. — Тут Семен вспомнил свою батарею, командира Самсонова, прощальные его слова — и заплакал с досады.

Насухо вытер он концом бязевой солдатской рубахи слезы, выпил полную кружку воды и, стиснув мелкие зубы, заиграл скулами.

— Так нет же, злодии, не дождетесь вы такого позора! Идите, мамо, во двор, положите в повозку сала и хлеба и потихонечку выведите

из сарайчика клембовскую Машку. А ты, Фросичка, надень на ноги чоботы и раз-раз бежи до Ивасенков. Скажешь своему чорту Миколу, чтобы он той же секундой потихонечку завел до нас во двор своего Гусака. Я его думаю запрягать вместе с Машкой. Бо все равно того Гусака завтра заберут обратно в экономию.

Фроська проворно сунула ноги в громадные чоботы, но бежать ей не пришлось.

Дверь, которую забыли заложить палкой, приоткрылась, и в хату заглянула лохматая голова самого Миколы. Он увидел, что в хате не спят, но не удивился. Наверяд ли в какой-нибудь хате люди ложились спать в эту проклятую ночь.

— Извиняйте, что заскочил в такое неподходящее время. Я до вас, дядя Семен..

С того дня как Микола стал гулять с Фросей, он проникся к Семену страхом и уважением. Он не называл его иначе как «дядя».

Микола был одет для дальней дороги, и его молодое, еще ни разу не бритое, почти детское лицо было полно суровой решимости.

— Я вам, дядя Семен, давал своего Гусака, когда вы ездили в Балту. Теперь позычьте мне вашу Машку. Я ее думаю запрягать вместе с Гусаком.

— А я только что до тебя Фроську посылал с тем же самым.

Семен внимательно посмотрел на хлопца.

— Собираешься куда-то ехать?

- Собираюсь.
- Посреди ночи?
- Эге ж.
- Куда?

— Куда бы ни было. И еще, дядя Семен, низко вам кланяюсь и не откажите. Видел я у вас добрый револьвер наган с патронами...

— А ну, выйдем на одну минуту из хаты, — сказал Семен, не дав Миколу договорить.

Они вышли, а не больше как через полчаса за кузней стояла подвода Семена, запряженная Машкой и Гусаком. Семен выносил из кузни и клал в подводу выкопанное оружие и шанцевый инструмент. Микола закладывал их соломой.

Софья кинулась к Семену на грудь.

— Не бросай меня тут. Забери с собою!

— Ни, Соню. За это и не мечтай. То не ваше женское дело, а наше — солдатское. Дожди-дайся меня, не журишь. Даст бог, скоро побачимся. Ще не долго тем злодиям хозяйновать на нашей земле. С тем до свиданья.

Они обнялись и долго целовали друг другу мокрые от слез руки, как и в тот счастливый час их змовин.

Затем Семен низко поклонился матери, и мать низко поклонилась ему. А Фросе достался добрый братский тумак по спине.

Семен и Микола уселись в солому. Подвода тронулась. Но едва она обогнула кузню, как Фрося, легче ветра, полетела за ней и вскочила на ступицу.

— Так-таки мне ничего напоследок не скажешь? — шепнула она Миколу.

— Скажу то же самое: дожидайся и не журись. Скоро побачимся.

— Куда ж вы, скаженные, едете?

— Будем живые — услышишь.

Микола ударил по коням, и подвода пропала в непроглядной темноте.

— Ну, кавалер, у тебя еще душа в теле или уже вышла наружу? — вполголоса спросил Семен своего будущего зятя, когда подвода выехала на площадь против церкви.

Ни одной звезды не виднелось на небе. Но дождя уже не было. Старая груша еле выделялась из темноты.

— А я и не чую, что такое за душа, — пробормотал зять, вдруг осаживая лошадей. — Я еще не воевал.

— Гальт! — раздался вдруг рядом с подводой повелительный возглас немецкого часового.

И в тот же миг страшный удар прикладом обрушился на его голову в каске. Оглушенный часовой свалился без звука. Семен с драгунской винтовочкой в руках и Микола с солдатским наганом выскочили из подводы, наклонились над телом. Семен успел перехватить руку зятя.

— Не стреляй, дурень. Тихо. Без паники.

Микола сорвал с головы часового шлем и несколько раз подряд изо всех сил ударил по ней рукояткой револьвера. Потом он неслышно взобрался на дерево и перерезал складным но-

жом веревки. Два несгибающихся тела тяжело, но мягко свалились на мокрую траву.

Семен и Микола уложили их на подводу, заложили соломой, а сверху поспешно кинули труп часового, — и погнали лошадей. Возле ставка они остановились и, раскачав немца, зашвырнули его в воду подальше от берега.

Осторожно выбравшись из села, они своротили с дороги в жито, сделали по степи несколько громадных кругов, чтобы сбить со следа и, наконец, подались в глубь уезда, что есть мочи погоняя коней.

На рассвете, проехав верст восемнадцать, если не все двадцать, они достигли узкой и глубокой балки и спустились в нее. Место было глухое. Отсюда, продвигаясь по дну балки, можно было незаметно добраться до одного не многим известного лесочка.

Стало развидняться. Солнце подымалось среди туч уходящей грозы. На колеса медленно наворачивалась толстая шина грязи с прилипшими к ней степными цветами.

Микола сидел, опустив голову и закрыв лицо руками.

— Боже ж мий, боже, — шептали его побелевшие губы. — Прости мени кровь, пролитую моими же собственными руками.

— Вот и сразу заметно, что ты еще настоящей войны не чуял, — строго сказал Семен. — Бога не проси, бо он тебе все равно не уважит. Даже разговаривать с тобой, с дурнем, не схо-

чет. А люди тебе простят. Еще спасибо скажут.

Желтое солнце мутно сияло в узеньких, серебристых, как бы суконных, листиках дикой маслины, на которой качалась сонная горлинка.

За полдень они въехали в лесочек, и в ту же минуту из орешника выскочило человек пять с поднятыми ручными гранатами и винтовками наперевес.

— Стой! Кто такие?

— Сельчане.

— Це нам подходит. Куда едете?

— Туда, где злодией нема.

— Це больше подходит. Значит, до нас. Оружие е?

— Револьвер наган солдатского образца, драгунская трехлинейная винтовка, две ручные гранаты-лимонки и четыре немецких ружья — бис его знае, сколько они линейные.

Семен говорил чистую правду. Немецких винтовок было действительно четыре. Одна, доставшаяся от часового, а три остальные — как раз те самые, что пропали у немецкого патруля на змовинах матроса Царева и Любки Ремениук. Их тогда потянул и сховал в соломе не кто иной, как Микола.

— Це добре... Патроны до немецких винтовок тоже е?

— Патронов до немецких винтовок нема. Не сообразили разжиться.

— От, ей-богу, люди! И таскают, и таскают, и таскают теи немецкие винтовки, а чтобы кто-нибудь за патроны побеспокоился, то того нема. Продовольствие е?

— Сало е, хлеб.

— Це у нас у самих до чортовой матери. А, случаем, пулемета якого-нибудь нема?

— Пулемета нема.

— От, ей-богу, люди! Все равно как маленькые дети! А ще что лежит в подводе?

Семен и Микола отгорнули солому. Люди заглянули в подводу и молча скинули шапки. Кое-кто перекрестился.

— Наша советская власть, — потупившись, сказал Семен. — Оба мои сваты. Оба меня заручали и оба меня змовляли. А на свадьбе гулять так и не пришлось. Ни им обоим не пришлось, ни мне. Налетели откуда ни возьмись теи злодии и порушили всю нашу крестьянскую жизнь.

А уже подводу окружало не пять, — а по крайности человек сорок беглых селян, собравшихся сюда из разных волостей и сел, в которых хозяйничали гайдамаки и немцы. Собравшихся для того, чтобы с оружием в руках встать за свою долю.

В молчании, поскидав шапки, фуражки и шлемы, проводили они подводу в глубину леса, где были разбиты землянки и в казанах варился кулеш, и тут на поляне, под молодым дубом

схоронили матроса Царева и председателя сельского совета Ременюка, а на дубе вырезали их имена, крест и прибили матросскую шапку.

ПОД КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА

Лето кончалось. Шел последний летний месяц — август.

От Ростова до Троянова вала, и от Курска до Джанкоя, и дальше вплоть до самого Черного моря; по-над батькой Днестром, по-над тихим его братом Доном и по-над быстрым его братом Днестром; среди шведских могил и скифских курганов; вокруг мазаных мелом хат, примостившихся в тени пирамидальных тополей и акаций; вокруг одиноких степных ветряков; вдоль некошенных балок, где за полдень, как в люльке, спит лиловая тень тяжелого облачка; и по всей богатой, обширной и красивой Украине — в свой срок заколосились хлеба, зацвели, побелели на зное, склонились, и скоро украинские поля из края в край устали соломенными ульями копиц, и вся Украина, как необозримая пасека, заблестела под убывающим солнцем.

Но не радовались люди в этот страшный год красоте и обилию своей земли. Сеяли свободными, а убирать урожай довелось рабами...

«Теперь для всех трудящихся Украины стало ясно, что они потеряли с Советской вла-

стью», — говорилось в воззвании Съезда Революционных комитетов и штабов Киевской губернии к рабочим и крестьянам Украины.

«И сердце рабочих и крестьян снова горит желанием бороться за Советскую власть, штурмом взять себе прежнюю крепость революции.

Не сегодня — завтра немцы увезут весь хлеб с крестьянских полей.

Хлеб останется только у богатых. Рабочие и бедные крестьяне хлебобородной Украины будут умирать с голоду, а помещики будут считать марки и кроны за крестьянский хлеб. Всем должно быть ясно, что если еще хоть неделю похозяйничают немцы и помещики со Скоропадским во главе — то нам неминуемо грозит голодная смерть.

Теперь или никогда!

Через неделю будет поздно. Мы должны немедленно поднять массовое восстание, вступить в бой с врагами трудового народа. Кроме цепей, нам терять нечего. Или мы, как рабы, как скот, будем умирать голодные, умирать под ликование мировой буржуазии, или, на радость мировому пролетариату, мы сбросим наших угнетателей и завоюем царство труда и свободы — Советскую власть. В этот момент уже началось восстание по селам и деревням».

Бил народ панских сынков гетмана Скоропадского под Коростенем. Щорс со своими богун-

цами под Киевом и вместе с батюшкой Боженко на Черниговщине наводили ужас на гайдамаков и немцев, захотевших попробовать украинского хлеба и меда. На север от Могилева-Подольского в области Куковки, Перебиловки и Немирца восстало две тысячи селян. Той же ночью у самого Проскурова под откос свалился поезд. За Лубнами горели помещичьи скирды.

Вылезли из-под земли с ног до головы черные шахтеры Донбасса и посмотрели на солнце отвыкшими от света белыми глазами.

Луганский слесарь Клим Ворошилов, бившийся с врагами весной под Змиевым, теперь собрал вокруг себя целую армию и с боем шел к Царицыну на соединение с руководителем и другом своим товарищем Сталиным, чтобы в должный час вместе ударить на злодиев.

И где только не показывались над степью его выжженные солнцем и пулями продранные знамена, всюду навстречу им выходили рабочие и селяне.

Выходили из-под земли и шли навстречу по рельсам отвыкшие от белого света шахтеры. Шли, таща за собой пулеметы и ведя крестьянских коней, одичавших в лесах, до самых глаз заросшие и пять месяцев не видавшие бани партизаны. Шли целыми взводами беглые солдаты ненавистной гетманской армии. Шли с Кубани и Дона казаки, вставшие за свою долю.

Шли и становились под те славные знамена и нашивали поперек шапок червонные ленты.

ВЕНЧАНЬЕ

В том лесочке, где под молодым дубом схоронили матроса Царева и председателя сельского совета Ременюка, теперь уже пряталось не сорок человек, а жило, самое малое, человек полтора, если не считать двух отчаянных ревнивых баб, не захотевших далеко отпускать от себя своих чоловиков и обосновавшихся тут же, вместе с детьми и овцами.

Это уже не была маленькая шайка беглых, но — хорошо вооруженный повстанческий отряд, с собственным штабом, походной кухней, пулеметной командой, конницей и артиллерией.

Артиллерию представляла горная пушка, которую наш богатый партизанский отряд выменял у пробиравшегося мимо лесочка другого, бедного партизанского отряда на два ручных пулемета, четыре немецких винтовки, австрийскую патлатку и шесть фунтов сала.

Пушка была без передка, без зарядного ящика, и к ней не имелось ни одного патрона. Но ходили слухи, что за восемнадцать верст в селе Песчаны у одного человека в погребе закопан целый лоток подходящих патронов, так что была надежда как-нибудь выменять и его.

Пушкой командовал Семен Котко. Он учил молодых, еще не побывавших на войне хлопцев ставить прицел и обращаться с оптическим прибором.

В лесочке, возле молодого дуба под брезентом стояли отбитые у немцев интендантские повозки, двуколки, мешки с мукой и сахаром, ящики табака, бочки керосина. Если бы не пулеметы, расставленные на опушке, и не кони под военными седлами, привязанные к деревьям, то легко можно было подумать, что это раскинул свою лавочку странствующий бакалейщик.

Теперь лесочек, как полагается по всем правилам позиционной войны, соединялся с балкой глубоким и со стороны незаметным ходом сообщения, на дереве день и ночь сидел с рогатой трубой наблюдатель, и у входа в землянку с надписью на фанерном листе химическим карандашом «Штаб отряду» стоял на коленях Никола Ивасенков в солдатской фуражке козырьком на ухо и плачевным голосом кричал в полевой телефон Эриксона:

— Степа, ты меня слушаешь? Наблюдательный! Степа, ты меня слушаешь? Наблюдательный! Наблюдательный! Та наблюдательный же, ну тебя, на самом деле, к бису!

Но наблюдательный не отвечал.

Микола вполне по-солдатски обложил «той проклятый эриксон, чтоб ему на том свете так разговаривать» и пошел проверять линию.

В тот день штаб отряда с нетерпением ожидал конного разведчика, тайно посланного для связи с подпольным губернским ревкомом. Уже давно отряд был готов к выступлению. Нехватало только артиллерии и точной боевой задачи.

Но еще на прошлой неделе губернский ревком сообщил, что на соединение с отрядом идет легкая батарея Красной Армии, застрявшая на Украине и пять месяцев отсиживавшаяся от германцев и гетманцев по лесам и глухим пограничным уездам Приднестровья.

Сейчас это может показаться невероятным, но в то легендарное время, когда в иных крестьянских дворах, случалось, были спрятаны в сене, дожидаясь своего часа, четырех-с-половинойдюймовые гаубицы с полным комплектом снарядов, — ничего необыкновенного в этом никто не видел.

Таким образом за артиллерией дело не стояло. Батарея должна была приехать вот-вот. На крайний случай можно было бы ударить и так, с одними пулеметами.

Дело стояло за боевым приказом. Легко можно себе представить, с каким нетерпением весь отряд дождался конного разведчика.

Между тем наблюдательный пункт не отзывался по довольно простой причине: наблюдатель, сидя на дереве, разговаривал с худой, рыжей девчонкой лет четырнадцати, вдруг появившейся на опушке.

Она была в лохмотьях, покрытых густым слоем тяжелой, августовской пыли. Длинные босые ноги с черными, сбитыми в кровь пальцами показывали, что она пробежала не один десяток верст. Пот струился по черному носу и по костистым вискам. Рот, открывшийся, как у рыбы,

дышал тяжело. Зеленые глаза на воспаленном лице казались почти белыми.

Если бы не аккуратная ситцевая лента в рыжей косе, не круглый железный гребешок в волосах надо лбом, ее можно было бы признать за деревенскую побирушку.

— Стой! — закричал наблюдатель.

— Стою! — ответила девочка.

— Подойди к дереву.

— Уже подошла.

— Ты что в нашем лесочке делаешь?

— Брата своего шукаю.

— Та у тебя повывлазило, чи шо? Какой может быть брат, когда тут позиция! Вертай назад, откуда пришла.

— А тут кака позиция? Гайдамацкая чи селянская?

— Селянская.

— Мне селянскую позицию и треба.

— Фрося?! — произнес вдруг Микола, как раз вышедший в это время к наблюдательному пункту. — Накажи меня бог, Фроська... — И он, повернувшись лицом к лесочку, закричал: — Гэй, Семен! Бросай орудию: до нас Фросичка прийшла!

С этими словами он отвел девочку на бивак. Она еле шла, при каждом шажке искусывая губы.

Едва Семен увидел сестру, как предчувствие несчастья охватило его.

— Здравствуй, Фрося. Что там у вас случи-

лось? какое происшествие? — сказал Семен, всматриваясь в ее лицо.

— Все, слава богу, пока благополучно, — ответила Фрося, озираясь по сторонам блуждающими глазами. — У вас тут нигде нема водички напиться?

Она крепко зажмурилась, как бы перемогаясь, оскалила стиснутые зубы, но не перемоглась, и вдруг рыданья вырвались и потрясли ее с ног до головы.

— Ой, люди! Нема больше сил терпеть, что те проклятушие злодии над нами роблят! Позабирали все чисто, куска хлеба нигде не оставили. Люди в степь идут — панский хлеб убирать, — так не можут итти, от голода падают на землю. А гайдамаки их прикладами поднимают и гонят, та еще насмехаются. Люди всё с себя поскидали и последнюю вещь из хаты на базар отнесли, чтобы гроши собрать на уплату Клембовскому. А у кого грошей нема заплатить, тех не пожалели никого — ни старого старика, ни маленького хлопчика, ни женщину с грудным дитем. Всех чисто загнали во двор в экономию Клембовского, по одиночке вызывали в сарай и тама клали на мешок с овсом, пороли. Два человека держали за руки, два — за ноги, один — за голову, а один бил до тех пор, пока человек уже не уставал кричать. Бил кого батогом, а кого шомполом. Ой, Семен, брате мий родный! Все чисто у нас позабирали. Ничего не оставили. И за лошадь ще триста карбованцев наложили за-

платить, а как у нас грошей не было, то и нас с мамой тоже таскали в тот сарай и били батогами, пока мы не устанем кричать. Меня ще, слава богу, били недолго — бо я скоро устала кричать и сомлела. А мама, как она кричать не схотела, то били ее долго и над нею насмехались гайдамаки. Совсем ее покалечили так, что она уже больше работать не может. И она теперь с торбою ходит по волости по всех дорогах, просит у людей, кто что подаст. И ей никто не подает, потому что самим нечего кушать. А Софью Ткаченко ее батька выдает замуж за самого помещика Клембовского.

Помутилось в глазах у Семена.

— Стой! Сама Софья схотела?

— Ни. Батька насильно заставляет. Он ее в погреб посадил и держит вторую неделю. За прошлую ночь я потихонько до Ткаченок во двор перелезла — с Сонькой через замок разгваривала. И она через замок сильно плакала и мне сказала — ради бога, сказала, бежи, Фросичка, до Семена, найди его, где хотишь, и передай, что злодии нас разлучают. Передай ему, что, может, он за меня уже и думать перестал, но я за него ночей не сплю и все думаю и надеюсь на него одного, что он меня отобьет. И еще передай ему: пускай торопится.

— Когда свадьба?

— Зараз сегодня вечером в нашей церкви будут венчаться.

— Ще мы это побачим! — закричал Семен

и было поворотился, чтобы бежать до командира, но тут же увидел его самого, вместе со штабом и всех бойцов, в молчании стоявших вокруг.

— Товарищ командир и товарищи бойцы, слушали вы всё это.

— Слушали.

— А когда слушали, то чего ж вы доси стоите и не садитесь по коням? Товарищ командир, Зиновий Петрович, подымай отряд!

— Ни, Семен. Без приказа губревкома и без артиллерии поднять отряд не имею права. Бо этот отряд принадлежит не нам с тобой, а принадлежит он всему трудовому народу и в первую очередь Советской власти. Такая есть воинская дисциплина. Ты это, Котко, как старый солдат должен добре сам понимать.

— Значит, выходит дело, что через тую воинскую дисциплину пропадает моя доля?

— Ни, Семен. За свою долю бейся сам. Забирай любую бричку с нашего парка, запрягай пару каких завгодно коней, хоть самых наилучших, ставь пулемет с патронами. И с богом. Я против этого ничего тебе не скажу.

И не успел еще командир дойти до своего куреня, как уже из лесочка вылетела наилучшая поповская бричка на паре наилучших трофейных коней.

Микола и Фроська сидели на козлах. Семен, припав к пулемету, подпрыгивал на заднем сиденьи. Скамеечка против него пока что была

пустая и в любой момент могла принять четвертого пассажира.

А солнце уже перешло за полдень. Степной ветер свистел в ушах. И навстречу наилучшим трофейным коням Семена, высоко над жнивьем, распустив гривы и надув белоснежные груди, летели в пустынном небе кочевые табуны облаков.

Солнце совсем наклонилось. Вот оно скользнуло по далеким курганам и кануло за край степи.

Суслик в последний раз выглянул из своей норки и нежно посвистел.

— Микола, погоняй, не жалея! Давай им хорошего кнута!

— Я не жалею!

Пена срывалась с лошадиных морд, улетала ввех и садилась в степи на бессмертники.

Красная звезда Марс показалась в небе.

Тем же ходом, как выскочила за полдень из лесочка, — влетела бричка в темное село. Одна только церковь посреди него горела золотыми кострами окон. Народ на паперти ахнул, узнав Семена. Он на ходу выскочил из брички с лимонкой в каждой руке.

— Повенчали?

— Ще ни. Только что жениха встретили.

Семен вошел в церковь и тотчас увидел Софью. Убранная монистами и лентами, с головою, покрытой сарпьянкой, она стояла перед наломом рядом с Клембовским. Жених был в алом

ментике с доломаном и с украшенной вензелем лядункой у лакированного голенища.

Положив перед собой лазурную руку на эфес сабли, а другою рукой прижимая к груди боевую гусарскую фуражку, Клембовский выставил колени и чуть наклонил узкую голову, над которой чья-то рука в белой перчатке держала венец.

Трескучий жар множества свечей непривычным заревом наполнял бедную деревенскую церковь. Даже всевидящее око в треугольнике желтых лучей и бог Саваоф посреди звездного неба, грубо написанного синькой в куполе церкви, — были ясно видны Семену.

Но больше он ничего не заметил. Все остальное слилось для него в одно безотчетное впечатление печального праздника.

— Сонька, бежи до меня! — закричал Семен, подымая над головой гранату.

Софья как будто только этого голоса и дожидалась. Не вздрогнув и не вскрикнув, она проворно обернулась и, расталкивая гостей, бросилась навстречу Семену. Она подбежала и схватила его за рукав.

— Подожди. Не чипляйся, — с досадой проворкотал он, — бежи зараз на улицу в нашу бричку.

Один миг — и девушка была уже на улице. Но общее сцепление прошло. К Семену кинулись. Семен увидел близко возле себя Ткаченко в полной парадной форме. Форма эта была

странная. Гайдамацкая. Четыре георгиевских креста попрежнему лежали поперек груди. Погоны были старой армии, но только не фельдфебельские, а — офицерские, золотые, с одной звездочкой.

Семен ударил Ткаченко локтем в грудь и замахнулся гранатой.

— Побережись, бо покалечу! — крикнул он.

Люди шарахнулись от него. Он выбежал на паперть и оттуда в открытые настежь двери с силой швырнул гранату назад в самую середину церкви.

Страшным рывком воздуха задуло свечи. Стекла выскочили из рам. Паникадило посыпалось.

А Семен уже вскакивал в бричку, где, обхватив пулемет окоченевшими руками, лежала Софья.

— Езжай!

— Езжаю!

Кони помчались.

С паперти вслед беглецам захлопали выстрелы. Пули пропели почти неслышно, заглушенные свистом ветра.

Бричка поровнялась с кузней. Дальше открывалась степь. И в тот же миг из-за кузни наперерез бричке ударил конный разъезд гайдамаков. Бричка стала. Семен не успел опомниться, как был повален на землю и скручен. Двое гайдамаков рубили шашками построжки. Трое — тащили с козел Миколу, который отбивался

кнутом. Сомлевшая Софья неподвижно лежала поперек дороги, белея в темноте упавшей с головы сарпянкой. Через пять минут все было кончено.

И никто не заметил Фроськи.

Как только разъезд гайдамаков выскочил из-за кузни, девочка спрыгнула на ходу с брички и легла к дереву.

Трофейные кони, волоча обрубленные впопыхах построжки, прошли мимо нее. Она подкралась к одному из них, схватилась за гриву, вскарабкалась, взмахнула локтями, ударила коня изо всех сил босыми пятками в бока и пропала в темноте.

Пленников отвели в село.

СУД

А на другой день, не взошло еще солнце, как за селом на шляху встала туча пыли. На этот раз шла не только немецкая пехота и кавалерия. Немецкая гаубичная батарея снималась с передков в полуверсте от села на кургане.

И едва только над степью брызнули первые солнечные лучи, как в хрустальном воздухе заиграл военный рожок.

Десять гаубичных выстрелов сделали немцы по селу. Пять бомб, одна в одну, легли в хозяйство Котко, подняли его на воздух и срыли с лица земли, только черная яма осталась. Дру-

гие пять бомб, одна в одну, легли в хозяйство Ивасенков, подняли его на воздух и тоже срыли с лица земли, только черная яма осталась.

И военный рожок сыграл отбой.

А возле полудня в село на двух экипажах, окруженных драгунами, въехал немецкий суд.

На крыльце клембовского дома поставили стол и четыре стула. Стол покрыли привезенным с собою синим сукном и разложили карандаши и бумаги.

На стулья сели председатель военно-полевого суда обер-лейтенант фон-Вирхов, докладчик-прокурор господин Беренс и защитник, агрономический офицер лейтенант Румпель.

Четвертый стул занял переводчик, чиновник министерства земледелия гетмана Скоропадского господин Соловьев. Правая рука его висела на черной косынке. Как шафер он находился в церкви и был оцарапан при взрыве. Вследствие этого он вынимал портсигар и закуривал левой рукой.

Два свидетеля находились тут же. Раненый в голову ротмистр Клембовский лежал забинтованный на походной кровати. Рядом с ним стоял навытяжку прапорщик Ткаченко — целый и невредимый.

Семена Котко и Миколу Ивасенко ввели под конвоем и поставили перед судом.

— Альзо, — сказал обер-лейтенант фон-Вирхов и воздушным движением посадил в глаз свое стеклышко.

— Не теряя времени, — перевел Соловьѳв, кидая в рот коричневую папироску Месаксуди.

Суд продолжался четверть часа.

— Так вот какое дело, братцы, — сказал, наконец, Соловьѳв, вставая, и приблизил к глазам лист бумаги, исписанный карандашом. — Объявляется приговор. «Крестьянин Семен Котко и крестьянин Николай Ивасенко за нападение и убийство немецкого часового — раз, за незаконное хранение оружия — два, и за налет на церковь во время богослужения, при котором от взрыва ручной гранаты ранен ротмистр Клембовский и чиновник министерства земледелия Соловьѳв, что полностью подтверждается свидетельскими показаниями, а также признанием самих подсудимых, — германским военноплевым судом приговариваются к смертной казни через расстрел. Приговор привести в исполнение публично через два часа. Председатель суда обер-лейтенант фон-Вирхов». Всё. До свиданья.

Обер-лейтенант махнул перчаткой. Семена и Миколу увели обратно в сарай.

— Ну, теперь я тебя могу спросить, — с трудом размыкая очерствевшие губы, сказал Микола, когда они остались одни и сели на солону: — У тебя ще душа в теле, чи ни?

— Моя душа уже с четырнадцатого года вышла наружу, — пытаюсь улыбнуться, ответил Семен.

— А моя ще держится, — прошептал Мико-

ла и вдруг положил голову на плечо Семена. — Ой, боже ж мий, боже! Разве гадал я ще на прошлой неделе, что не минует меня сегодня германская пуля. — И он заплакал, про себя, как ребенок.

— Цыц, — строго сказал Семен. — Нехай люди не чуют.

Он отвалился головой к стенке сарая, раскинул по соломе ноги и, поправив за спиной связанные руки, запел вызывающе громко и вместе с тем заунывно старую украинскую песню, знакомую смолоду:

Був у мене коняка,
Був коняка-розбишака,
Була шабля та й рушниця,
Та й дівчина-чарівниця...

Время двигалось странно. То оно несло с неслыханной скоростью, так, что леденело сердце, то вдруг останавливалось и повисало над головой всей своей непереносимой тяжестью. Так прошел один час, и уже второй час был на излете.

Недалеко на селе проиграл военный рожок.

Загремел засов. Дверь отворилась. В гайдамацкой шапке с красным верхом вошел Ткаченко.

— Что, Котко, песни спиваешь? — сказал он, остановившись против Семена. — Торопись спивать, а то время у тебя уже мало остается.

Ничего не ответил ему на это Семен. Ткачен-

ко прошелся перед ним туда и обратно, как перед фронтом, и снова остановился, тремя пальцами разглаживая ус.

— Не хочешь со мной разговаривать? Довольно глупо. Может быть, ты до меня что-нибудь имеешь, а я до тебя ничего не имею. Жалко мне тебя, Котко, в твой последний час.

— Пожалел волк кобылу, оставил хвост та й гриву. Не треба мне этого. Вертай назад, откуда пришел, чтоб я в свой последний час не видел твоей поганой морды.

— Опять же глупость. Дурак ты, Котко, дурак. Как был всегда дураком, так дураком и выйдешь сейчас перед пехотным взводом.

— Жалко, что руки мне теи злодии поскручивали, — прошептал, скрипя зубами, Микола.

Но Ткаченко даже прямым взглядом его не удостоил, а лишь покосился с усмешкой.

— И если хочешь знать, Котко, я тебе могу сказать в твой последний час, — продолжал он, — в чем есть твоя деревенская дурость. Не понял ты, Котко, политики. Не сварил котелок. Залетел ты в своих думках чересчур высоко. Захотелось тебе сразу получить все счастье, какое только ни есть на земле. Очи у тебя, Котко, сильно завидующие, а руки еще сильнее того загребущие. Увидел ты красивую дивчину и сразу же до нее своими лапами — цоп! И не сварил твой котелок, что, может быть, тая дивчина — богатая дочка образованного человека, твоего непосредственного начальника, и она до

тебя, бедняка, не пара. Затем увидел ты клембовскую гладкую худобу и клембовскую хоршую землю и сразу же их своими холопскими лапами — цоп! И не сварил твой котелок, что эта гладкая худоба, и эта хорошая земля, и эти новые сельскохозяйственные машины есть священная, нерушимая собственность хозяина нашего, царем и богом над нами поставленного господина Клембовского. Но и этого показалось мало завидушим твоим глазам и загребущим твоим рукам. Увидел ты дальше, Котко, власть; власть — надо всем, что только ни есть на земле, под землей, в воде и на море; понравилась тебе тая власть, и ты пошел до своих каторжан-сватов, до большевиков и вместе с ними подлыми своими руками тую божескую власть — цоп! И вот до чего тебя это все привело, Котко. А умные люди как поступают? Возьми меня. Я присягу свою свято исполнял. Я в думках своих чересчур высоко не залетал, а если когда и залетал, то держал это при себе. Я начальству своему уважал. Я чужую священную собственность сохранил как зеницу ока. Я мўку через то от людей принимал. И я достиг. А ты не достиг. Кто теперь есть ты и кто я? Я теперь получил за верную службу от его светлости ясновельможного пана гетмана Скоропадского эти офицерские погоны. Я Соньку выдам за дворянина и сам дворянином, даст бог, сделаюсь по прошествии времени. А ты в неизвестной могиле сгинешь, как тая падаль.

— Брешь, — закричал Семен, вскакивая. — Брешь, шкура! Я из могилы вырощу за свое счастье и костями буду душить вас, гадов!

Тут во второй раз проиграл на селе военный рожок.

— Мало твоего остается, Котко, мало. Может быть, и до десяти минут не хватит. Попрошайся лучше навеки, как нам господь наш Иисус Христос советует, ничего не имея друг на друга. Закури, Котко, чтоб дома не журились.

Ткаченко вынул серебряный портсигар, достал из него папиросу и протянул ее к лицу Семена, желая вложить в рот. Но Семен резко отвел голову.

— Не треба! — крикнул Семен. — А за все твои слова, шкура, плюю в твои поганые очи.

И Котко плюнул в лицо Ткаченко.

Ткаченко отвернулся, вытерся носовым платком и ударил Семена нагайкой наотмашь поперек лица.

ЗИНОВИЙ ПЕТРОВИЧ

Фрося скакала по степи, не останавливаясь.

Она изо всех сил колотила пятками лошадь, надеясь как можно скорее доскакать до отряда и выпросить помощь. Но не отъехала она от села и пятнадцати верст, как в степи показались огни.

На всем скаку трофейный конь внес ее в ла-

герь. Вокруг горели походные костры. Стояли пушки, не снятые с передков. Конь радостно заржал и остановился. Девочку окружили люди.

При свете костров многие лица показались Фросе знакомы. Один отчетливо напоминал ей наблюдателя, с которым она разговаривала утром на опушке лесочка; другой был вылитый командир отряда; две бабы с детьми на руках и черные овцы со связанными ногами в повозке стояли перед глазами, как сон, приснившийся во второй раз.

Фрося сползла с лошади, пробормотала: «У вас тут нигде нема водички напиться?», легла на землю и в тот же миг заснула.

Это был действительно тот самый партизанский отряд. Через час после отъезда Семена прискакал, наконец, разведчик, привезший в шапке приказ губернского ревкома выступать. Отряд немедленно выступил и только что соединился с подоспевшей батареей.

Командир взглянул на обрубленные построики, крякнул, подхватил спящую девочку подмышки и положил на подводу с бабами и овцами. Затем кинул на свои командирские плечи бурку и поднял отряд.

Отряд двигался медленно и осторожно. На рассвете он остановился в балке, верстах в семи от села. За одну эту ночь отряд увеличился втрое. Сельчане со всех сторон выходили в степь ему навстречу с конями и оружием и надевали поперек шапок червонные ленты. Теперь

в отряде уже было не меньше как пятьсот бойцов, не считая батареевцев.

Разведка, высланная вперед, побывала в селе и к полудню вернулась. Она доносила, что Семен и Микола сидят запертые в клембовском сарае и ждут немецкого полевого суда.

Одну сотню командир поставил на правый фланг и одну сотню — на левый. Одну сотню послал в глубокий обход и приказал появиться у злодиев с тылу. Нового командира батареи попросил быть настолько ласковым поставить свои пукалки возможно ближе и крыть по злодиям так, чтобы из них душа наружу. Себе же взял остальное, с тем чтобы со всеми бричками, пулеметами, бабами и кухнями ворваться в село с фронта.

В третий раз на селе проиграл рожок.

И вдруг с колокольни раздался набат. Кто-то с поспешным отчаянием колотил в церковный колокол.

Ткаченко прислушался.

В это время низко над сараем со свистом пронесся снаряд и в тот же миг посередине двора разорвался. Ухо артиллериста не могло ошибиться: била русская трехдюймовая пушка. Второй снаряд попал в скирду. Из нее повалил густой опаловый дым. Протяжный вой сотни голосов долетел до села. Его прострочила короткая очередь пулемета. Третий снаряд пролетел над сараем и ударил в клембовскую крышу. Ткаченко согнулся и бросился вон.

Послышалась торопливая немецкая кавалерийская команда. Немецкий эскадрон рысью выезжал со двора.

От горящей скирды несло жаром. Семен и Микола переглянулись и осторожно вышли из сарая. Часовых не было. Двор был пуст. Набат не переставал ни на минуту.

Едва ударило первое орудие и над степью резанул первый снаряд, как с правого фланга и с левого, с тыла и с фронта, со всех четырех сторон, с воем и свистом посыпались в село партизанские сотни.

И впереди всех, сидя боком на бричке, с раздутыми усами и в железных очках, въехал в село командир Зиновий Петрович, по-хозяйски закутанный от пыли в бурку.

Соединенный гайдамацко-немецкий отряд отступил в панике. Комендантские экипажи насилу выскочили из села, увозя немецкий суд, а вместе с ним и ротмистра Клембовского.

А церковный колокол продолжал звонить и звонить безустали, точно в него с нечеловеческой силой и упрямством колотил внезапно сошедший с ума звонарь. Две женские фигуры метались на колокольне. Одна — высокая, костлявая старуха в лохмотьях и с торбой на спине; другая — молодая, вся в монистах и лентах, с развевающейся за плечами сарпанкой.

Это были мать Семена и Софья. Взявшись за руки, они без передышки, как заводные, раскачивали било, крича во весь голос одно и то же;

— Ратуйте, люди! Ратуйте, люди! Ратуйте!

Их силой оторвали от веревки и стащили вниз.

Первые же хлопцы, на бричке с пулеметом вскочившие в клембовский двор, развязали Семена и Миколу. Они подхватили на бричку своих пропавших товарищей, которых и не чаяли видеть живыми, и поскакали к церкви, где Зиновий Петрович тем часом уже разбил ставку и занимался своим любимым делом — принимал пленных и трофеи.

— Ну что, герой, отвоевал свою долю? — спросил Зиновий Петрович, глядя строго поверх очков на Семена.

Но ничего не успел ответить Семен своему командиру по той причине, что как раз в самую эту минуту увидел свою мать и Софью, пробивавшихся к нему сквозь толпу. Они подошли и остановились близко, рассматривая его с ужасом, как привиденье.

— Ой, Семен, — бормотала Софья, крутя и выворачивая на груди руки. — Ой, Семен, любый мой, целый, не убитый..

Она рванулась к нему, но Семен, покосившись на командира, строго натужил скулы и сказал:

— Та подожди ты, ради бога, Соня. Видишь — я как раз с командиром разговариваю. Стань пока рядом с мамою. Эти бабы! Через них только одна паника и ничего больше.

В этот миг народ подался на стороны, и пять хлопцев поставили перед командиром прапор-

щика Ткаченко, только что захваченного в степи.

— Це что такое за диво? — сказал командир, с ног до головы оглядывая Ткаченко. — А ну, человек, поворотись трошки, покажись людям, может они тебя узнают и щось про тебя хорошее скажут. Чтoб мы знали, куда тебя отсюда отправлять — направо или налево.

— Свободно может не повертаться, — сказал Семен, — мы с этой шкурой добре знакомы. Не один раз бачились. Совсем недавно, может — час назад, в том смертном клембовском сарае он со мной разговаривал. Це зарубка на морде держится.

— На твою совесть, — сказал Зиновий Петрович, — как скажешь, так и сделаем. Направо или налево?

— Налево, — сказал Семен.

Услышал эти слова Ткаченко, упал на колени. Но хлопцы подхватили его под руки и поставили.

— Налево, — сказал Зиновий Петрович.

Ткаченко увели за церковь.

Софья закрыла глаза руками и отвернулась. За церковью ударил выстрел.

— Теперь так, — сказал Зиновий Петрович своему штабу. — Война наша ще далеко не кончена, а лишь начинается. Думаю я, пока немцы не очухались, очистить село и прямым ходом рвать под станцию Кодыму, сделать им на железной дороге неприятность, чтобы до ихней

Германии не доехало наше украинское жито. А ты, Семен, пока наша артиллерия меняет позицию, бежи и явись в распоряжение батарейного командира, а то он там горько плачет без хороших наводчиков. Стой. Ще не все. Два слова за твоих баб. Они могут сидать на подводу и находиться при обозе второго разряда, где у нас уже, слава тебе господи, есть теих отчаянных женщин боле, чем треба. Теперь сполняй.

ШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА

Пушки стояли в степи за селом среди еще не вывезенных копий жита.

Командир шагал по стерне с бусолью подмышкой, разбивая фронт батареи. Это был хромой человек в черных шароварах с красным кантом и в шведской куртке с бархатными артиллерийскими петлицами. Громадная русая борода казалась привязанной к коричневому от солнца лицу, с белым пятном на том месте, которое закрывал козырек. Но в степи было жарко, и командир батареи держал фуражку в руке. Его белая, наголо обритая голова отражала солнце.

При виде трехдюймовых пушек Семен подтянулся и, по старой артиллерийской привычке, подскочил к батарейному чортом:

— По приказанию товарища командира соединенного партизанского отряда явился в ваше распоряжение бомбардир-наводчик Котко.

Веселое изумление мелькнуло в юношески голубых глазах командира батареи.

— Очень приятно, Семен. В таком разе принимай свое третье орудие. Ставить прицел не разучился?

— А вы кто такой будете?

— Кто такой буду, не знаю, а сейчас девки дразнятся — Самсоновым. Да ты чего на меня вылупился? Аль борода моя тебе не показалась?

— Вольноопределяющий Самсонов! — закричал Семен.

— Он самый. Борода для красоты.

— А батарея?

— Она самая. Дорогая, полевая, трехдюймовая.

— И орудия моя?

— Тут.

— Ах ты ж, боже мий! Ни за что бы на свете не подумал того! — воскликнул Семен, вытирая ладонью глаза. — Ну что ты скажешь? Шел солдат с фронта, та й пришел обратно на фронт!

— Я ж тебе предлагал, чудяку, остаться. Ну чего ты поперся?

— Сеять.

— И что же, посеял?

— Посеял.

— А собирали другие?

— Другие.

— Видишь, какие дела. Ну да ладно. А сейчас мы с тобой — молотить начнем, Стано-

вись к своему орудью. Сдается мне, что вон по тому бугорку какие-то упряжечки к нам спускаются. — И Самсонов, надев скоро фуражку, закричал молодецки: — Батарея к бою! Прицел семьдесят. Прямой наводкой. По немецкой гаубичной батарее. Гранатой! Не подкачай, Семен. Два патрона беглых!

Припал Семен — плечо к колесу — к своему орудью, и даже сердце у него захолонуло. Каждую отметинку, каждую царапинку на щите и на колесе узнавал он и считал, как мать узнает и считает каждую кровинку на теле своего ребенка.

В один миг навел Семен орудие, вогнал унитарный патрон, хлопнул затвором и взялся за шнур.

— Огонь!

Сноп красного огня выскочил из подпрыгнувшей пушки. Батарея ударила два патрона беглым. Один — и следом за ним другой. Прильнул Семен глазом к прицелу.

Шесть черных деревьев выросло из земли перед самой немецкой батареей по первому выстрелу. И шесть черных деревьев выросло из земли по-за самой немецкой батареей по второму выстрелу.

— Огонь!

И шесть черных деревьев выросло из самой немецкой батареи по третьему выстрелу. Полетели вверх обломки зарядных ящиков. Полетели колеса. Упали и забились, запутавшись в

постромках, уносные лошади. Побежала при-
слуга.

— Молодец, Семен! Молоти еще. Домолачи-
вай. Два патрона беглых. Огонь!

А уж с горки, наперерез появившейся откуда
ни возмись немецкой цепи, сыпалась сотня за
сотней, и впереди всех, на бричке, ехал Зиновий
Петрович, по-хозяйски закутанный в черную
бурку.

И побежали немцы во второй раз за этот
день. Но, как правильно сказал Зиновий Пет-
рович, война еще была далеко не кончена, она
лишь начиналась.

Два месяца пришлось еще бить немцев, и с
фронта, и с тыла, и с правого фланга, и с лево-
го, прежде чем они окончательно и навсегда
очистили Украину.



ОГЛАВЛЕНИЕ

В Балте на базаре	3
Розгляды	6
Казнь	9
Четыре чарки	20
Повстанцы	24
Под красные знамена	33
Венчанье	36
Суд	46
Зиновий Петрович	52
Шел солдат с фронта	58



Редактор Ю. Б. Мукин

* * *

Тираж 100 000 экз.

Подписано к печати 3/VII 1941 г.
А39860. Печ. лис. 2. Авт. лис. 1,92.

В печ. лис. 42 656 зн.

* * *

Цена 25 коп.

* * *

б-я тип. ОГИЗа треста «Поли-
графкнига», Москва, 1-й Самотеч-
ный пер., 17.

Зак. № 765.

56

11. 52 r.

17

000